

Константин Боттё

Письма



Константин Боттё

Письма

<https://litres.ru/74680632>

SelfPub; 2026

Аннотация

Татьяна приезжает в родной городок, чтобы продать опустевший дом отца и навсегда закрыть прошлое. На чердаке она находит коробку с письмами, которые писал ей отец, но не отправлял. Юридическая сделка оборачивается встречей с забытой жизнью, материнской любовью и собственной памятью. Короткий повесть о том, что дом, семья и прошлое нельзя продать.

Константин Боттё

Письма

Татьяна трижды нажала на сброс, но экран смартфона тут же снова замигал. Питерский офис настойчиво требовал её внимания, невзирая на роуминг и глухую зону покрытия.

– Да, я на месте, – быстро проговорила она в динамик, захлопывая дверцу машины. – Дом осмотрим за час, подпишем акт и сразу обратно на станцию. На вечерний экспресс я успеваю. Изменения в контракте присылайте на почту, посмотрю в поезде.

Молодой риелтор в очень строгом для этой глуши костюме уже бодро входил в калитку, что-то помечая в планшете. Татьяна шла за ним, стараясь не запачкать туфли в густой траве, которая проросла сквозь старый настил дорожки.

Этот дом не вызывал у неё ровным счётом никаких эмоций. Более тридцати лет назад, едва отпраздновав восемнадцатый день рождения, она уехала отсюда в Ленинград. Уехала с одним чемоданом, амбициями и твердым ощущением, что её настоящая жизнь там, на запруженных проспектах, а не в этом затерянном у леса городке. И она победила. За это время она получила профессию, построила карьеру, обросла связями, привыкла к жёсткому ритму мегаполиса. Прошлось ей архивной папкой, которую давно сдали в утиль за ненужностью. Отец прожил тут один слишком

долго, превратившись для неё в далёкий, стареющий голос в телефонной трубке раз в месяц. Теперь, когда его не стало, а ей самой уже исполнилось пятьдесят, осталась лишь юридическая формальность продать участок с разваливающимся срубом и закрыть эту главу навсегда.

– Фундамент ещё послужит, а вот веранду под снос, – деловито бросил риелтор, толкая скрипучую входную дверь. – И яблони эти старые придётся вырубить. Они весь вид перекрывают. Татьяна Владимировна, вы пока осмотритесь, а я сделаю замеры первого этажа.

– Я поднимусь на чердак, – равнодушно отозвалась Татьяна, даже не взглянув на покосившееся крыльцо. – Посмотрю, не осталось ли там чего. Иначе их просто сожгут вместе с верандой.

На чердаке было душно. Сквозь мутное полукруглое оконце пробивались косые лучи солнца, в которых неподвижно висела вековая пыль. Пахло сухой соломой, старым рубероидом и почему-то лавандой. Наверное, мамины запасы, от которых за тридцать лет остался один едва уловимый призрачный запах.

Татьяна брезгливо огляделась, стараясь не задеть плечом свисающую с балок паутину. Ничего ценного здесь, конечно, не было: поломанные венские стулья, гора пожелтевших журналов «Наука и жизнь», пустые оплетённые бутылки из-под домашнего вина. Обычный хлам, который новые хозяева выбросят в первый же день.

Ей нужно было проверить дальний угол, где стоял старый платяной шкаф. Риелтор просил убедиться, что там нет старинных икон или книг, которые могли бы поднять общую стоимость лота. Пробираясь между колченогим столом и грудой каких-то досок, Татьяна наступила на край ржавого таза. Тот с грохотом перевернулся, задев стоявшую на полу серую картонную коробку.

Обычная потрепанная коробка из-под советских зимних ботинок отлетела в сторону, ударилась о балку, и её крышка слетела. На пыльный дощатый пол веером вывалились плотные листы пожелтевшей бумаги.

Татьяна скользнула по ним равнодушным взглядом. Какие-то старые черновики, квитанции или записи. Ей было не до них. В кармане снова не вовремя завибрировал телефон. На ходу отвечая на сообщение, она дошла до шкафа, подергала заклинившую дверцу, убедилась, что внутри лишь пустые вешалки и гнезда мышей, и повернулась назад. Осмотр был окончен. Здесь делать больше нечего.

Она уже подошла к люку и занесла ногу над верхней ступенькой приставной лестницы, чтобы спуститься вниз, к ждущему риелтору. Но в этот момент внизу затих натужный звук шагов парня. Он ушёл мерить дальнюю пристройку, и на чердаке воцарилась странная, звенящая тишина. Татьяна остановилась. Её взгляд снова упал на рассыпавшиеся у балки листы.

Один из них перевернулся от сквозняка. На пожелтевшей

бумаге в косом солнечном луче отчетливо проступили крупные, ровные чернильные буквы. Чернила были фиолетовыми, старыми, слегка выцветшими. Почерк был ей знаком. Отец всегда писал медленно, вырисовывая каждую букву, словно чертил схему.

Татьяна на секунду замерла, удерживая равновесие на верхней ступени. Времени не было, внизу ждала сделка, но какая-то необъяснимая, чисто механическая деталь заставила её сойти назад на доски. Она подошла, присела на корточки, стараясь не испачкать светлые брюки, и подняла верхний лист.

Там не было ни даты, ни обращения. Текст начинался прямо с середины строки:

«...Антоновка в этом году тяжелая, ветки клонит к самой траве, приходится подставлять рогатины. Буран крутится под ногами, ловит шмелей в падалище. Глупый, один раз уже получил в нос, ходил с раздутой мордой, но ничему его жизнь не учит. Сосед приходил, принес керосину, говорил, что на станции опять задерживают поезда из-за размытых путей. Говорит, в Ленинграде сейчас, небось, дожди беспросветные, зонты над проспектами, как чёрные грибы. А у нас солнце, воздух сухой, прозрачный, словно стеклянный. Если встать на цыпочки у колодца, видно, как за лесом копают торф. Дым идет белый-белый, пахнет горелой землей и озёрными камышами.

Нашел в кладовке твои старые резиновые сапоги. Те са-

мые, с трещиной на левом каблучке, через которую ты вечно черпала воду в ручье, а потом прятала мокрые носки за печкой, чтобы я не ругался. Выбросить не поднялась рука. Поставил на веранде у порога, пускай стоят. Печь пока не топлю, только к вечеру запаливаю пару поленьев, чтобы сырость из углов выгнать. Дом, когда в нем никого нет, быстро остывает, словно обижается. Буран сразу ложится на старый коврик у заслонки, греет свой лохматый бок и ушами прядает во сне, словно караулит кого-то.

На прошлой неделе к ручью прилетала цапля. Долго стояла на одной ноге, высматривала что-то в холодной воде. Вода в ручье потемнела, стала как крепкий чай, и листья на дне лежат ровными слоями, багровые и золотые, как мозаика в каком-то старом соборе. Я сидел на поваленной осине, смотрел на нее и думал, что природа совсем не торопится. Ей всё равно, какой сейчас год на календаре и кто куда уехал. Она просто дышит. Люди думают, что нужно постоянно куда-то бежать, строить, доказывать, а земля просто ждет, когда кончится лето, чтобы немного поспать под снегом.

Надо бы перекрыть крышу над сараем до первых заморозков, старый шифер совсем истончился, крошится под пальцами, как сухой корж. Поеду в субботу на станцию за гвоздями, если подвезут в сельмаг. Окна в твоей комнате заклеил полосками газет, чтобы не сифонило с севера, от леса. Нашел там, на подоконнике, засохший бутон шиповника.

Помню, как ты принесла его в кармане фартука, еще зеленоватым, обещала, что он распустится в стакане с водой. Вода давно высохла, а он так и остался лежать сморщенный и коричневый, но если потереть между пальцами, до сих пор пахнет сухим августовским полднем.

Сейчас уже совсем стемнело. В углу тихонько, на одной ноте губит старый холодильник, на столе под лампой с зеленым абажуром сидит большая ночная бабочка, крыльями перебирает. Чернила в чернильнице почти на доньшке, приходится часто макать перо, и от этого строчки получают неровными, с тяжелыми кляксами на полях. Но мне нравится этот ритм. Словно я иду по этой бумаге к тебе, шаг за шагом, через весь этот тёмный, засыпающий лес, через сотни километров железных дорог, прямо туда, где горят твои ленинградские окна. Буран поднял голову, посмотрел на меня, вздохнул. Наверное, пора тушить лампу. Дрова в печи прогорели, остались только красные угольки, похожие на маленькие созвездия...»

Татьяна дочитала до конца страницы. Строчки оборвались без подписи, просто ушли в пустоту пожелтевшего листа. Она перевернула его. Обратная сторона была чистой.

Риелтор внизу кашлянул, скрипнула половица у самой лестницы.

– Татьяна Владимировна? С вами всё в порядке? Тут ступеньки ненадежные...

– Я занята, – оборвала его Татьяна. Голос прозвучал резко, совершенно чужеродно на этом тихом чердаке. – Потребуется больше времени, чем я думала. Подождите на улице.

Шаги внизу нехотя удалились, хлопнула входная дверь. Татьяна взяла ещё одну страницу. Плотная бумага едва заметно зашуршала в её пальцах. Фиолетовые чернила на следующем листе стали чуть бледнее. Отец явно писал это уже глубокой ночью.

«... Угольки в печи гаснут быстро, если не закрыть выюшку вовремя, но я люблю этот момент, когда комната погружается в серые сумерки, а углы расплываются. Буран тогда перебирается поближе к моему креслу, кладёт тяжёлую голову мне на колено и тихонько сопит. В такие минуты кажется, что в доме снова полно народу. Помнишь, как мать твоя, Алевтина, чутко спала? Стоило мне ночью хоть половицей скрипнуть, когда я ходил на кухню воды испить, она уже поднимала голову: «Это ты ходишь? Опять чай гоняешь, старовер?». А сама улыбалась в темноте, я по голосу слышал. Три года её нет, а лавандовое мыло, которое она всегда перекладывала в белье, до сих пор пахнет из комода. Сильнее времени оказался запах.

Я сегодня перебирал книги в шкафу, искал твой старый атлас по географии, тот, который с контурными картами, где ты Ленинград синим карандашом заштриховала так усердно, что бумагу порвала? Большие города они ведь как

мачехи: красивы, статны, но сердца у них каменные. Ты держись за то, что внутри у тебя есть. За наши леса, за этот тихий ручей, за тепло, которое мы с матерью в тебя вложили. Оно не даст тебе замерзнуть там, на их ветреных набережных. Человек ведь странно устроен. Когда вы вместе, в одном доме, то всё кажется важным: кто чашку не помыл, кто калитку забыл запереть. А как останешься один, так понимаешь, что это и была самая настоящая жизнь. И эти принесенные тобой грязные следы с ручья. Они были дороже чистого пола.

Валя-почтальонка сегодня принесла газеты, сказала, что на переезде старый дуб ветром завалило, да своими ветками он провода порвал. Помнишь, сколько народу в ожидании поезда под ним пряталось. Ветер сейчас как раз с той стороны дует, от железной дороги. Слышно, как товарный идет на станцию. Тяжело, с надсадой, колёса на стыках стучат: тук-тук, тук-тук... Буран ухом ведёт, но глаз не открывает. Надо пойти проверить засов на веранде, а то сорвет ночным сквозняком, опять дверь всю ночь будет хлопать...»

Далее текст отсутствовал. Нижняя треть листа осталась пустой, чистой, словно отец действительно просто встал из-за стола, ушёл в сени проверить засов, да так больше и не вернулся к этой странице.

Татьяна перевела дыхание. Настоящее время медленно отпускало её. Навязчивые мысли о контракте, о питерских

делах, о риелторе, который теперь покорно ждал её на крыльце, стали казаться блеклыми и ненастоящими. Живым был только этот чердак, запах лаванды и тихий стук колёс товарного поезда, который она вдруг, сквозь года, отчетливо услышала за лесом.

Она снова опустила руку в коробку. Пальцы нащупали следующую пачку листов. Там чернила были уже другими – густыми, черными, а бумага казалась более жесткой.

«...Снегу нанесло столько, что забор со стороны леса теперь угадывается только по плавным белым холмам. Два дня мела такая метель, какой я и не помню. Свету белого не было видно, в трех шагах от крыльца колодец исчезал в этой круговерти. Вчера весь день откапывал тропинку к поленнице и к калитке. Работа хорошая, руки заняты, в голове чистота, а воздух такой морозный, что дышать трудно, словно стекло глотаешь. Буран сначала выскочил со мной, прыгал по сугробам, как молодой, только хвост со свистом из снега показывался. А потом увяз по самую грудь, обиделся, ушёл на веранду и оттуда следил за мной, смешно повернув голову набок.

На станцию сейчас не пробиться, узкоколейку занесло, поезда встали. Сосед Сашка утром кричал через забор, что хлебный фургон доберется до нас дай бог к пятнице, если трактор пустят. Но у меня мука есть, соль есть, картошки полный погреб, так что мы с Бураном не пропадем. Я вчера сам испек хлеб. Помнишь, как мать твоя учила: на опаре,

долго вымешивать, чтобы тесто дышало под полотенцем? Весь дом пропах теплой корочкой и тмином. Буран сидел у духовки как приклеенный, слюну пускал. Дал ему горбушку, так он её не съел сразу, унес на свой коврик и долго охранял, как сокровище.

В такие дни, когда за окном всё белое и неподвижное, время словно застревает в сугробах. Кажется, что за пределами нашего леса вообще ничего нет – ни городов, ни заводов, ни твоего Ленинграда. Будто мир скукожился до этой одной комнаты, где трещат берёзовые дрова. Печь у нас хорошая, Аля всегда говорила, что у неё душа добрая. Станешь спиной к тёплой глине, закроешь глаза, и так спокойно становится.

Сидел сегодня у этой печки, смотрел на огонь сквозь щёлку в заслонке и вспомнил, как пятнадцать лет назад, точно в такой же глухой февральский мороз, у нашей коровницы Марты родился теленок. Помнишь Борьку? Совсем дурной был, белый, с чёрным пятном на левом ухе. На дворе стояло минус тридцать, в хлеву дышать было нечем от стужи, и мы с матерью побоялись, что он замёрзнет в первую же ночь. Притащили его прямо в дом, на кухню. Алевтина расстелила у печки старый ватник, уложила его. Ты тогда мелкая была, из-под стола едва видать, а радости-то сколько! Помню, как ты притащила свое детское байковое одеяло в клеточку и пыталась его укутать. Борька спал, шумно дышал, от него пахло парным молоком и сеном, а ты

сидела рядом на корточках и всю ночь караулила, чтобы он копытца не отморозил. А наутро он проснулся, испугался половиц. Лапы-то разъезжаются, скользко и ткнулся тебе мокрым носом прямо в ладошку. Ты так звонко хохотала, что Буран (он тогда ещё щенком был, ушастым и бестолковым) испугался и залез под диван. У меня до сих пор перед глазами эта картина: кухня, Аля у плиты чугунок ухватом двигает, пар идёт, Борька свой мокрый нос в твою косичку прячет, и столько в этом было тепла, что никакой мороз за окнами нас достать не мог.

Достал сегодня из ящика комода старый шерстяной платок, синий с бахромой, помнишь, мамин? Накинул его на кресло. На нем до сих пор осталась пара её седых волосков. Я их не убираю. Знаешь, Танюшка, зимой мне часто кажется, что она просто вышла в сени за молоком или прилегла отдохнуть в спальне. Одиночество зимой – оно не злое, оно какое-то торжественное. Лес стоит притихший, под тяжёлыми снежными шапками, деревья не шелохнутся, словно боятся расплескать эту тишину.

А ещё вспомнил, как мы с тобой на старых деревянных санках, которые я сам из ясеня смастерил, катались с Лысой горы у ручья. Ты усядешься впереди, укутанная в три шарфа так, что только глаза-бусинки блестят, схватишься за веревку и кричишь: «Папка, быстрее!». И мы летели вниз, прямо в сугроб, санки переворачивались, мы оба в снегу по уши, варежки мокрые, щёки красные. Я тебя на руки

подниму, потряхиваю, а ты ревешь, но не от испуга, а оттого, что санки далеко уехали и надо обратно в гору лезть. Домой возвращались уже в сумерках, мать на пороге встречает, всплескивает руками: «Господи, два сугроба пришли, а не муж с дочерью!». Стягивала с тебя валенки, а из них снег горстями сыпался на пол. И ведь никто не болел тогда. Никакая простуда нас не брала, потому что дома печь топилась и Аля чаем с малиной отпаивала.

К вечеру небо прояснилось, мороз прижал сильнее. Вышел на крыльцо подбросить зерна синицам. Они к зиме совсем ручные стали, чуть ли не на рукав садятся. Глянул наверх, а там звезды. Такие крупные, чистые, колющие, словно их кто-то намыл в проруби. Смотрел на Большую Медведицу и думал, что ведь ты в своем институте сейчас, наверное, тоже из окна на эти же самые звёзды смотришь. Небо-то у нас одно, хоть между нами и сотни километров этой заснеженной, спящей земли. Интересно, носят ли в Ленинграде валенки? Или вы там все в модных сапожках ходите по асфальту? Ты береги ноги, Танюшка, сырость там у вас, на Балтике, нехорошая, обманчивая. Звонила на прошлой неделе тётка Мария со станции, говорила, что в газете писали, что в Ленинграде наводнение было, вода в Неве поднялась. Я всю ночь не спал, всё думал, как ты там? Не залило ли твое общежитие? Письмо тебе писать не стал об этом, знаю, скажешь: «Папа, вечно ты паникуешь». Но здесь, в тишине, эти мысли сами в голову лезут.

Радиоприемник старый «Вэф» весь вечер шипит, ловит какую-то музыку сквозь треск помех. Передавали что-то старое, вальс какой-то, под который мы с Алевтиной когда-то на веранде танцевали, когда ещё молодыми были, а тебя и в проекте не было. Буран поднял ухо, прислушался, а потом затянул тихонько, в ноту. Подпевал, артист.

Буран стареет, Танечка. На лапу левую заднюю припадает, когда с мороза заходит. Я ему суставы старым машинным камфорным спиртом растираю, он терпит, только лижет мне руку шершавым языком. Мы с ним два старых холостяка теперь в этом огромном доме. Он без тебя скучает, и я... Да что говорить. Ты учишь, дочка, главное. Нам-то с Бураном много не надо, мы свой караул отстоим.

Надо будет завтра пораньше встать, проверить силки у ручья, да посмотреть, не погрызли ли зайцы кору на молодых яблонях. Я их по осени лапником обвязал, но эти ушастые всё равно лазейку найдут. Карандаш совсем затупился, нож где-то затерялся в темноте, надо идти искать...»

Текст оборвался на слове «искать». Словно отец отложил карандаш тридцать лет назад, а эхо этого действия затихло только сейчас, под этой стропильной крышей. Смартфон в кармане Татьяны снова завибрировал. Пришло три уведомления подряд, но она, не глядя, нащупала боковую кнопку и полностью выключила экран. Экран погас, забрав с собой весь её питерский офис. Тихонько скрипнула балка над головой. Старый дом у леса словно глубоко вздохнул, уклады-

ваясь спать. Татьяна аккуратно отложила прочитанные страницы в сторону и достала из глубины коробки листы, написанные на обороте каких-то старых бланков. Почерк отца здесь стал чуть быстрее, размашистее. Фиолетовый цвет чернил вернулся, но стал бледным, будто разбавленным весенней водой...

«...Река в этом году пошла сразу, за одну ночь, шумно и страшно. Проснулся оттого, что Буран выл в сених. Не лаял, а именно скулил, прижав уши к голове. Вышел на крыльцо, а в темноте только гул стоит, словно сто дирижаблей над лесом летят, и лёд трещит так, будто пушки бьют на полигоне за станцией. К утру вода залила нижний луг, подошла к самым огородам. Старая лодочная пристань ушла под воду полностью, только верхушки трёх свай торчат, ловят проплывающие бревна и мусор. Наш погреб, слава богу, сухой, дом стоит на взгорке, так что до нас большая вода не достанет, но сыростью из подпола потянуло густо. Пахнет мокрой ольховой корой, талым снегом, прелыми листьями и старыми намокишими сетями, что дед твой еще в углу кладовой складывал. Всё вокруг замерло в ожидании, земля пьёт эту воду, захлёбывается, дышит тяжело.

Смотрел сегодня, как мимо нашей калитки, прямо по затопленной колее, плывёт старая деревянная кадушка. Невесть откуда её принесло, может, у кого со двора в верховьях смыло. Буран бегал вдоль забора, лаял на неё, думал, наверное, что это зверь какой-то диковинный. А я вспомнил,

как в твоём детстве, когда тебе лет семь было, случился такой же большой наводок. Вода тогда залила всю низину у леса, и мы с тобой построили плот из старых заборных досок и ящичков. Помнишь? Мать тогда на работу на станцию уехала, дежурство у неё было ночное, нас контролировать некому было. Мы привязали к этому плоту длинную бельевую веревку, я один конец за толстый сук антоновки зацепил, ты уселась верхом, взяла в руки старую швабру вместо весла и воображала себя капитаном дальнего плавания. Командовала мне: «Полный вперед, боцман, держи по курсу на ту старую вербу!». Сапоги у тебя были полные ледяной воды, штаны насквозь мокрые, лицо в грязи от береговой глины, но глаза горели так, будто ты не по нашему затопленному огороду плывешь, а Индийский океан покоряешь. Алевтина вечером вернулась, увидела этот «флот», за голову схватилась, сумку с хлебом на крыльцо выронила. Хотела отлупить нас обоих хворостиной, да не смогла, мы уже сидели на веранде, завернутые в одно большое дедовское ватное одеяло, пили чай из самовара на шашках и в четыре руки чистили картошку для супа. Она посмотрела на нас, уставшая такая, вздохнула, махнула рукой, достала из шкафа заветную банку сушёной лесной малины и говорит: «Ну что с вами делать, пираты? Переодевайте капитана, пока хворобу не подхватил». А сама потом тихонько смеялась, когда полотенцем твои мокрые волосы тёрла.

Сегодня ходил в палисадник посмотреть на мамыны пер-

воцветы. Снег только-только сошёл, земля чёрная, голая, тяжёлая, но из-под прошлогоднего бурьяна уже пробиваются первые зелёные стрелки. Мать всегда так радовалась этим первым росткам, караулила их каждый день после работы, чуть ли не на корточках перед грядкой сидела, словно они могли без неё дорогу к солнцу позабыть. Помню, как она строго-настрого запрещала нам ходить по этим грядкам, кричала на весь двор, если Буран туда свой любопытный нос совал: «Убери собаку, он мне весь первоцвет потопчет, иродова душа!». Теперь топтать некому, Буран обходит палисадник по широкой дуге, по старой привычке, помнит её голос, уши прижимает. Я эти грядки аккуратно маленькими граблями почистил, сухую листву убрал, руки до сих пор землёй пахнут. Пускай растут. Скоро зацветут синие пролески, весь палисадник под окном будет как лоскут весеннего неба, упавший прямо на траву.

Заходил сегодня Степан со станции, принёс махорки и новостей. Говорит, у ручья путейцы всё-таки спилили ту старую раскидистую иву, под которой мы прятались от июльского ливня, когда с рыбалки возвращались. Помнишь её? Огромная была, дуплистая, мы в её корнях корзинки прятали. Степан говорит, что мешала проводам, того и гляди при буре замкнёт. Жалко иву, хорошая была, со скрипучим, добрым сердцем. Когда ветер дует с той стороны, от переезда, слышно как поезда проходят через станцию. Как колёса надсадно на стыках стучат. Сейчас из-за большой воды

этот стук кажется ближе, будто поезд прямо за нашим сараем идёт.

Еще Степан сказывал, что по радио передавали, что в Ленинграде весна в этом году затяжная, холодная, Ладога долго не вскрывается, льды стоят в Неве. Я как услышал, так сразу про твои лёгкие туфли подумал, которые ты на выпускной выпросила. Ты ведь уехала в том пальтеце демисезонном, коротком, мачеха-город тебя там своими балтийскими ветрами быстро простудит, а лечить тебя некому, в общежитии-то у вас небось и горчичников не сыщешь. Тётка Мария обещала в субботу передать со знакомым проводником поезда посылку для тебя. Я туда собрал банку земляничного варенья, из тех ягод, что мы за дальним болотом собирали, я его берёг для особого случая. И шерстяные носки туда положил, что баба Вера связала. Сами носки колючие, серые, из чистой овечьей шерсти, пахнут овчинником, немодные. Ты такие в своем институте носить постесняешься перед подружками, наверное, стыдно будет, но ты их хоть в комнате надевай, когда спать ложишься и батареи остывают. Ноги в тепле держать надо, Танюшка, особенно весной, когда всё кругом обманчиво. Днём то солнце пригреет и кажется, что лето, а земля-то еще ледяная, колом стоит.

А вчера вечером, когда совсем стемнело, сидел на кухне и вспомнил, как мы с матерью тебя в первый класс собирали. Дождь тогда лил как из ведра, первое сентября, а у те-

бя ранец новый, кожаный, блестящий, с замочками. Ты его каждые пять минут открывала и закрывала, проверяла, на месте ли пенал с цветными карандашами. Алевтина тебе банты эти огромные, белые, никак завязать не могла. Руки у неё дрожали от волнения больше, чем у тебя. Я тогда на вас смотрел и думал: «Господи, какая же она у нас ещё маленькая, как же она там одна среди чужих людей в школе будет?». И вот поди ж ты, школа пролетела, теперь Ленинград, институт... Время, дочка, оно как эта река весной. Кажется, только вчера лёд стоял, а сегодня вода уже яблони заливает, и не остановить её, не повернуть назад.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.